

ЭДУАРД УЧАРОВ

ИНОРОДНАЯ ВЕЩЬ

Стихотворения



КАЗАНЬ

Издательство Академии наук РТ

2017

УДК 821
ББК 84(2Рос=Рус)-5
У90

Учаров Э. Р.

Иностранная вещь: Стихотворения / Эдуард Учаров. – Казань:
Издательство Академии наук РТ. – 2017. – 64 с.

ISBN 978-5-9690-0387-3

Поэзии Эдуарда Учарова присущи полифоничность, внутренняя противоречивость, тяга к контрастам, воплощаемая в слове и ритме. Узнаваемая чёткость бытовых деталей опрокидывается в бездну метафизики, кажущаяся простота оборачивается многослойной метафорой, лирическая исповедальность сочетается с беспощадно-зорким отношением к себе и окружающим.

ISBN 978-5-9690-0387-3

© Эдуард Учаров, 2017

Потрясая основы

Читать стихи Эдуарда Учарова непросто. Неподготовленный читатель поначалу может быть озадачен обилием аллюзий, аллитераций, сложностью и многозначностью метафор. Рваный, непривычный ритм, частые инверсии – ко всему этому надо привыкнуть, чтобы в результате вникнуть в самобытный внутренний мир автора, по достоинству оценить его творчество, в котором есть место и смелым экспериментам с рифмами, и «заумной» поэзии, и даже откровенному эпатажу.

За непривычной, экспрессивной манерой письма чувствуются неравнодушие и боль, предельная самоотдача, и осознание своего предназначения, что всегда отличало настоящих поэтов.

Истинного ценителя поэзии могут заинтересовать разнообразные находки, в том числе и неологизмы: «*Над городом протяжно куполами / Церквела ночь*».

Кроме того, внимательный читатель может заметить, что тексты Учарова обнаруживают, помимо эмоциональности и богатой фантазии, его острый, можно сказать, музыкальный слух:

*Колодезная рябь –
На хруст, как всхлип ребёнка.
Пелёнка рвётся тонко
О льдинку ноября.*

Это – взгляд из глубины, из недр под- или над- сознания, панорама нашей полной драматизма жизни – с прикрасами и без. Это – шифоньер, хранящий «мятые коробки печальных истин» и в то же время – хрупкий полёт осеннего листа; спящий во дворе нищий и заоблачные выси, где «с песней, выдуваемой в хрусталь, стоят, в своей красе непогрешимы, замёрзшие в девичестве вершины».

Главное, что привлекает в произведениях автора – это стремление путём проб и ошибок, через преодоление всех мыслимых барьеров и стереотипов – найти собственный путь в литературе, сказать своё неповторимое слово, разгадать те невыразимые тайны, коими окружает нас мироздание, которые таятся в глубинах космоса и человеческих душ.

Филипп Пираев,
поэт, прозаик, сотрудник Национальной
библиотеки Республики Татарстан

«Океан без окна...» О поэзии Эдуарда Учуарова

Я открыл для себя поэзию Эдуарда Учуарова не так давно и с той поры читаю каждое новое его стихотворение с неослабевающим вниманием. Природный дар, изощрённая версификация, богатый арсенал поэтики свойственны многим современным авторам, но при этом далеко не каждого из них интересно читать, тем более перечитывать. Стихи Эдуарда перечитывать хочется, и вот почему.

Поколение, ставшее взрослым на рубеже тысячелетий, росло в двойственной обстановке: политические и экономические встряски сопровождались нарастающим духовным вакуумом по мере того, как российская атмосфера лишалась последних крох кислорода. В итоге сегодняшним тридцати – сорокалетним в большинстве своём нечего сказать читателю. Оказалось, что пробивать головой совковый асфальт для поэтов плодотворнее, чем расти сорняком на огламуренном огороде. Только единицы нашли в себе нечто, позволившее им обрести собственный голос и собственную тему. Учуаров один из этих немногих – счастливец ли? мучеников? не знаю. Знаю, что он собеседник, с которым хочется вести диалог.

Его поэзии присущи все признаки современного лиризма – полифоничность, внутренняя противоречивость, тяга к контрастам, воплощаемая не столько в слове, сколько в ритме и фонике. Узнаваемая чёткость бытовых деталей здесь мгновенно опрокидывается в бездну метафизики, кажущаяся простота оборачивается многослойной метафорой, лирическая исповедальность сочетается с беспощадно-зорким отношением к себе и окружающим – впрочем, у Эдуарда беспощадность смягчена неизменной иронией, единственным средством самозащиты поэта-лирика в наше не-сентиментальное время. Сегодня принято стыдиться той крови, которая идёт горлом, окрашивая слова поэзией. И особенно ценно для меня то, что искренний голос Эдуарда пробивается сквозь все пласты его технического мастерства и тем самым превращает «стихи для немногих» просто в стихи. Вероятно, поэтому, пройдя искусы концептуализма, метареализма и прочих модных «измов», его поэтика неизменно возвращается на те круги, с которых русской поэзии не сойти ещё долго – к высокому косноязычию Осипа Мандельштама. И поэтому очень естественным было для меня найти в его книге такие строки:

Перейдя на запретный язык, / Потрясая основы,

Плывишь горлом немые азы / В клёкот странный и новый.

Давай же, читатель, вслушаемся в клёкот поэта – не судя, а постигая.

Юрий Лукач,

поэт, переводчик, Екатеринбург

I

Подъезд

Бог не фраер, не лох, но весьма любознательный шкет:
он давно наблюдал втихаря, притворившись умершим,
как в прокисшем чаду, в этом грязном кирпичном мешке
нас, нахальных цыплят, становилось по осени меньше.

Кто ушёл на войну – умирать под чеченским селом,
кто допрыгнул до звёзд, разбежавшись по пьяни с балкона,
кто-то веру обрёл, получив кирпичом за углом,
и в психушке теперь добывает земные поклоны.

Нас подъезд воспитал и вскормил из бычковых сосцов
сладкой водкой свободы безумно дешёвого понта,
пацаны-старшаки нас пороли ремнём за отцов –
их отцов, не вернувшихся с фронта.

И я с лекций летел на безжалостный окрик свечи
в полутёмном пространстве Вселенной друзей-одногодок:
там облойкой кассет Доктор Албан нас насмерть лечил,
и калечил язык беглый говор обкуренных сходов.

...Что-то вспомнилось ныне, как плавилась дух и сердца...
Нас осталось немного – шепчу я светло и печально...
Свой рубец оставляет подъезд у любого жильца,
если ты не мертвец изначально...

Огород

Жили-были холодно да голодно, –
только не хватались за ножи.
С вороньём за вечерами лобными
пугало справлялось у межи.

Пили водку с горьким молочаем,
хоронили яблока микроб.
Кулаками в зубы получали,
кто чужой подёргивал укроп.

Примирились: просто и за сало,
ленточку победы теребя.
А теперь вот Родина ... устала
выручать советского тебя.

Видишь, как при всём честном народе
за ботвой картофельных наград
на соседском тощем огороде
гибнет в керосине колорад.

Всё теперь давно уже не слишком,
телек кровожадненько басит:
«Помнишь, как сжигали наших мишек?!
Мишка, ты теперь не одессит!..»

Вот и ватник сдан под одеяло –
лоскуты ползущие на нём.
Нас имперским смыслом наделяло,
что по одному не проживём.

По уму ли, по сердцу, бессрочно
городили общий огород,
кости перемешивали с почвой
и плодами раскровили рот.

мой ленин

мой маленький ленин всё ещё жив,
ворочается, не даёт покоя,
достанешь шкатулку, он пионерским значком уколёт, –
добр и горяч этот миф.

на великах до Кремля и обратно,
пока мама не видит вроде бы,
футбол во дворе, пляж у Мемориала,
кафе «Сказка» и кинотеатр «Родина».

актовый зал КГУ, скелет белуги,
клятвы торжественной звуки,

в приветствии вскиданы руки
и алая петля на шее...

овощной на углу.
тёплый батон и ледяное молоко
из литровой стеклянной тары
в три часа ночи – нет ничего вкуснее.

первая сигарета «БТ» – брат вернулся из армии,
а папа умер,
первая реклама, спирт в пакетиках,
сколько ещё в башке моей мумий?..

затылок прогрызают мыши,
прорываются в гущу набальзамированных событий...
мой дедушка ленин всё ещё дышит –
не хороните его, не хороните...

Декабрь

Свернёшь в декабрь – кидает на ухабах,
оглянешь даль – и позвонок свернёшь:
увидишь, как на наших снежных бабах
весь мир стоит, пронзительно хорош.

И выюжная дорога бесконечна,
где путь саней уже в который раз
медведем с балалайкою отмечен,
а конь закатан в первозданный наст.

Замёрзший звон с уставших колоколен
за три поклона роздан мужикам
и, в медную чеканку перекован,
безудержно кочует по шинкам.

И тянется тяжёлое веселье
столетьями сугробными в умах,
и небо между звёздами и елью
на голову надето впопыхах.

Дятел

Дятел – разведчик звука,
Родственник молотка,
Сколько ты мне отстукал
Птичьего молока?

Сколько, вещая птица,
Голосу вышло жить?
Сколько мне слов приснится
И присльшится лжи?

Чёртова колотушка
Присно пишушим в стол!
Скольким станет ловушкой
Бьющее долото?

Проклятыми листьями
Ты по вискам – в упор,
Если стучать устанешь,
Я подхватчу топор.

Подворотня

Привет тебе, суровый понедельник!
Должно быть, вновь причина есть тому,
Что в подворотне местной богадельни
Тайком ты подворовываешь тьму.

И клинопись с облезлой штукатурки
На триумфальной арке сдует тут.
Здесь немцы были, после клали турки
На Vaterland могильную плиту...

Теперь же неуёмная старушка
С бутыльным звонцем – сердцу веселей –
Все мыслимые индексы обрушит
Авоською стеклянных векселей.

И каждый здесь Растрелли или Росси,
Когда в блаженстве пьяном, от души,
На белом расписаться пиво просит
И золотом историю прошить.

Звонарь

Я ещё до конца не изучен,
не испытан на прочность пока,
но как колокол бьётся в падучей,
я набатом сдираю бока

и плыву в этих отзвуках долгих,
наблюдая, как с гулом сердец
проступает над веною Волги
побелевший часовни рубец.

И в малиновом хрусте костяшек,
на ветру у свияжских лагун,
прозреваю я голос свой тяжкий,
но понять до конца не могу.

Бечеву до небес изнаждачив,
истрепав до полбуквы словарь,
захожусь в оглушительном плаче –
одиноким зовущий звонарь.

Шифоньер

И я рождён был между двух огней:
Земля и Воздух – вот мои стихии.
Зимой раскалённым суахили
Я изморозь проплавлю на окне.

Как будто город сном не утечёт
В сырую Лету мёртвого артикля.
Я наблюдаю, как моим картинкам
Музейный штиль уже ведёт учёт...

А ветер, наигравшись в провода,
Срывает фантик с приторного века.
Шуршат года листочками на ветках
И жизнь мою спешат земле отдать.

Степному небу грезится ковыль –
Должно быть, небо тоже полукровка...
Печальных истин мятая коробка
Пылится в шифоньере головы...

* * *

Не поезд Анну красит, –
но катится трамвай
отточенную фразой –
под дребезжанье свай.

Куют колёса гомон,
звенит прямая речь
в предчувствии знакомом
смертельных телу встреч.

Теперь за все цитаты
расплатится с лихвой
уже известный автор,
упав на мостовой.

Ёлочный сок

выжимаешь ёлочный сок на ладонь –
а ладонь в крови,
и течёт горячая жизнь с неё –
и течёт внутри.

остановишь веселье потом, потом,
а пока – дави!
окуная широкий лоб в вино –
на сугроб смотри...

с деревянной лошади, мчащей вскачь,
дед мороз орёт,
бесконечным посохом, аки Бог,
этот стих дробит.

медсестра снегурочка, филин врач –
мне наполнят рот
ледяной таблеткой тоски – и слог
о любви убит.

без ума в груди и душевных скреп –
хоровод пустынь.
только слышен дурацкий детский смех,
но ведь слышать – труд.

и текут стихи, запекаясь в хлеб,
к рождеству звезды,
и семью стихами накормишь всех,
только все умрут.

Андалузский пёс

На крови замесишь и подаришь
свой тяжёлый, как ботинок, взгляд.
Андалузский пёс тебе товарищ –
бешено из зала закричат.

Тишина затопаёт в ладоши,
и немое кончится кино,
но зрачок исследовать продолжит
память чёрно-белую смешно.

Только свет очей на бритве замер,
отражая пониманье вдруг:
умирать с открытыми глазами –
лучшая наука из наук.

Венедикт Ерофеев. Москва – Петушки

Говорят все: Кремль (снова Кремль!) Сколько раз нащупывал я дно!
О, тщета! О, эфемерность темы! Как направо – Курский, всё одно...
От рассвета до открытия манны Ангелы Господни берегут
Силпых душ нелеченые раны, хересом промачивая грудь.

В восемь и шестнадцать на перроне, отправляясь в пропасть налегке,
Беззащитно непохмелённый, чемоданчик я сжимал в руке.
Две «Российской», столько же «Кубанской». И ещё креплёное вино.
«Не нужны стигматы, но желанны» – пей, пока холодное оно.

Серп и молот. Я, конечно, выпил. Трепыхнулось сердце в небеса,
Словно над болотом взмыло выпью. Унеслось проведать чудеса,
Тамбура бескрайние границы. Возвратилось. Я вошёл в салон.
Встретили нахмуренные лица: всё один и тот же страшный сон?

Чухлинка. И весть пошла наружу. Рёк бы, да по скромности не стал.
Бутербродом заарканил душу. Усмирил бытийный свой оскал.
Оглянулся. Два мордovorота разливали «Свежесть» под укроп,
А над ними деликатный кто-то отирал от нимба мокрый лоб.

Кучино. Близка моя царица. Ангелы застенчиво жужжат:
Рыжая нахальная блудница не познает Венечкин разврат!
Ангелы! Да как вы не поймёте? Я доеду, я не пьян пока...
43-ий проезжаем вроде? К Храпуново тянется дуга.

Ах, тридцатый тот глоток некстати, задышать как будто не даёт,
Ждёт меня дитя, да Бога ради, отпусти, прошу, Искарриот!
Я везу ему гостинец мятый: горсть орехов и конфет кулёк –
Это ли тебе совсем не свято? Это ли не мне теперь зарок?

Почему мы движемся обратно? Почему Покров левее, тварь?
Петушки? Бессмысленно и ватно выхожу под сгорбленный фонарь...
В восемь и шестнадцать рано утром, я же помню, точно выезжал,
Отчего ж луна на небе мутном предлагает выпить мне бокал?

Четверо. Бегу от них что мочи. Как заметно выросли дома.
Горло от предчувствия клокочет, мысли вытрясает из ума.
Сердца завершается кипенье, стал тяжёлым у грудины крест:
Не было вершины и паденья. Был всё тот же отмерший подъезд.

Возвращаясь с войны

Так брести, как грести по воде,
взмахом рук помогая движению брюк к пустоте,
а словам – обретать простоту на листе.
Неуёмную мысль вдруг повесить
помятой армейской фуражкой на крюк
пляточного шкафа. Иль забыть на гвозде.

Либо стать мудрецом, в маску скомкав лицо.
Мысль убрать под диван.
Как султан, свесив ноги с тахты, говорить всем «якши»,
за притворной улыбкой скрывая
две тысячи сунн и священный Коран,
по(читаемый) мною так часто в тиши.

Мысль на цепь посадить, словно пса.
Пусть скулит в закоулках ума,
сторожа закрома серых масс мозгового венца.
Неудачно грустить, то и дело сбиваясь на смех, и его задарма
с хрипотцой всем врагам раздавать под винцо...
Без свинца...

Кузмин

На «Форель разбивает лёд» 1929 г.

Задумчиво и прекрасно
форель разбивает лёд
и рыбьей, но тоже красной,
строкою в бокалы льёт.

Прижечь бы устами раны,
зубами хрусталь кроша...
Но позднее слишком рано
стихам отсчитало шаг.

Диковинной чешуёю
глава вдалеке блеснёт.
Сегодня – к картошке с солью
форель одолеет лёд.

Губанов

А если резать – проще по живому,
чтоб мясо мысли вымарало скатерть,
и в алый парус надышать Житомир,
по венам рек пустив прощальный катер.

А если полюбить – то захлебнуться
притоком крови к бешеному слову!
Чтоб хлынуло из горла всё до унций
копившееся: доброе и злое.

А если разбиваться – только насмерть!
Всё лучше, чем по мелочам колоться...
От сырости не подхватить бы насморк
на дне у неприметного колодца.

Зодиак

Как будто бы рождённый в Бутово,
с ватагой местных забияк,
свинчаткой бил и день опутывал
неумолимый зодиак.

Ломая крышам переносицы,
как сумасшедший городской,
он февралём отчаянно носится,
убийства выдав гороскоп.

И лезвие стремится месяца
исследовать года орбит –
астролог ли так с жиру бесится,
что просыпаешься обрит

и ждёшь суда его сурового,
дичась хромированных скоб,
когда, пространство изуродовав,
тебя увидит телескоп.

Там

1

Там ещё пишут...
Это когда
ведут палочкой по бумаге.
Ищут пищу,
ра-бо-та-ют –
странный обряд ушедшей магии...

Там ещё солнце – железный диск –
лязгает по небосводу,
и неуёмный рассвет-садист
в тёмные окна воткнут..

Там ещё жив благодатный звук,
но не посредством речи,
просто ружьё, сжевав кирзу,
сердце дробинкой лечит.

Там ещё можно куда упасть...
В перистых тех хоробах –
время спрессовано в лучший пласт,
в котором слова хоронят.

2

Там, в голове, зреет яйцо ума:
птеник готов клюв за идею шерить...
Полной когда станет твоя сума –
вместе со смертью мудрость раздавит череп.

И вознесёшься, и упадёшь опять,
в общем-то, спя, если на самом деле,
крылья свои о небо опять дробя,
кровью и телом завтракая недели...

Пережуёшь, переживёшь глагол,
на ночь вином не позабыв причаститься,
и улетишь в зарево, где щегол
лузгает звёзды, сплёвывая зарницу.

3

Там меня пишут вензелом до вершин.
Там обо мне явно слагают вирши,
как я тринадцатый подвиг не совершил:
взял – из игры и вышел.

А было что вспомнить: лев под рукой немел,
гибра кончалась при головообмене...
Вепрь и лань, бык, что всегда имел
критские бабки не в моей ойкумене.

Страсть как смешно видеть сады Гесперид:
в яблоках кони двигают взмыленный перед...
Ворон, бывало, взгляд свой в тебя вперит,
словно в печёнку вонзает медные перья.

И проезжаешь Дербышки, как царство теней,
кладбищ в округе – что фиников в Палестине:
это как слеplенный плач на еврейской стене,
что вместе с мамой моей в катафалке остынет.

* * *

Колодезная рябь –
на хруст, как всхлип ребёнка,
пелёнка рвётся тонко
о льдинку ноября,

где огненный сазан,
набухнув пухлой брюквой,
мелькнёт нелепой буквой,
плывя реке в казан.

Раз так заведено –
в круги проплыть от камня,
что в Лету гулко канет,
ударившись о дно.

Моря спадают ниц,
к луне отходят воды,
и кесарь время водит
по лону рожениц.

Так уходят отцы и деды...

Проржавела небесная кровля
и закатом на окна крошит.
До последней осенней крови
день бомжами за домом прожит,

и поджарен последний голубь
на горящем куске картона.
За невысказанным глаголом
градус в горле бродяги тонет.

Так уходят отцы и деды,
в коммунальных спиваясь клетях,
это им через крюк продеты
удушающие столетья,

это души их по округе
в предпохмельном суровом плясе,
за собою задраив люки,
громыхают по теплотрассе.

Анка

И вечер на тебя немного укорочен,
и ложу египтян завидует Прокруст,
и колотушкой лба сияет околотчий,
о косяки дворцов раздаривая хруст.

Не слышен ход небес, веление царёво –
принцессу не будить на месяц Рамадан,
пока безумный март Алисою зарёван,
и розы февраля царапают майдан.

И рвётся из цепей тоска цепных реакций
ядрёным ноябрём с Аворою в капкан.
Заря ещё красна с пальбою пререкается,
когда на Ильича картавится Каплан.

Задушенный Кавказ умоется снегами,
Остапу надоест промышленный Провал.
И если я не прав, возьми в ладонь не камень,
а вычурный наган и ущеми в правах.

И вечер на тебя немного укорочен,
и ленточки твои заплетены в «Максим».
Встречай и напиши о стрёкоте сорочьем,
ресницами в крови на карту занеси...

Компьютерный вирус

Когда у Ангела иссякнет
волшебный звук – мышиный клик –
и сисадмин, и хакер всякий
одарят пятками угли.

Тогда сойдутся в небе куцем
комет бесчисленных круги,
и антивирусом сотрутся
и аватарка, и логин.

Пароль искать уже не нужно, –
за дело взялся программист,
но путь его, как сервер вьюжный,
на мониторе жизни мглист.

Гугли же крепкие носилки,
когда зависнет сердце вдруг, –
мы все пройдем по Божьей ссылке,
пути земного сделав крюк.

Трёхколёсный бог

Навострив свои педали,
в раскученные дали
трёхколёсный катит бог.
От червя и человека,
от бессмысленного века
он ушёл, как колобок.

Полям, речкой, огородом
катит бог за поворотом
мне по встречной полосе.
Есть ещё секунда с лишним,
чтоб столкнуться со всевышним
и осесть на колесе...

Одуревшей головою,
небо выбив лобовое,
тенью, ласточкой, звездой
мягко выпорхнет из тела
строчка горнего предела,
уплатив за проездной.

Стоматология

Теперь зубочистке осталось
царапать по нервам прорех –
тянись, саблезубая старость,
расщёлкать познания орех.

Фарфоровой мудрости гностик,
вставной летописный резец –
вгрызайся с малиновой злостью
в проклятый язык, наконец.

Последние сгустки апломба
на ватку сомнения сплюнь,
почуй, как морозная пломба
растет в пульпитный июнь.

На страшное синее небо,
на хрусткую, с кровью, эмаль –
смотри через зеркальце в оба
и скрежету глотки внимай.

Пока ты под местным наркозом,
пока ещё жив протезист,
напильник извечных вопросов
над лобною костью навис.

Но всё перемелется, братцы:
коронки, каретки, мосты...
Придёт санитарка прибраться
и буквы смахнёт на листы.

К покою приёмному хлопца
крылатый ведёт поводырь.
Лишь челюсть болеть остаётся
в стакане кричащей воды.

За кроваву реченьку...

За кроваву реченьку, за мосток
отправляться в путь контрабасу нужно.
Впереди Ичкерия и Моздок,
впереди война, разговор оружия.

Впереди предательство и чины,
самопальный спирт как итог зачистки.
Километры берцами сочтены,
а слова домой – и не перечислишь.

За спиной Аргун и удар в обхват –
сто голов под роспись в ворота чехов;
прибалтийский цейс из ближайших хат;
на растяжке крик разрывного эха.

Если вышел срок тебе – помолчим.
Походив по горным дорогам с нами,
ты наверно видел звезду в ночи,
и она шептала тебе о маме.

Это просто тень на глаза легла
и сморило вдруг молодое тело...
На поминках водочка так легка,
хороша в графинчике запотелом.

И теперь гуляет в раю душа,
позабыв про ужас ночного боя...
На поминках водочка хороша,
на зубах хрустит неизбывной болью.

Забалдев под болдинскую осень...

Забалдев под болдинскую осень,
заварю иголки кипариса:
заходи чайку попить, Иосиф –
неба умирающего писарь.

Посиделки с классиком поэту
как не помянуть тоскливо-броско?
потому в Венецию поеду,
или где там похоронен Бродский?

Только в эту шалевую осень
ошалеть другим придётся строкам, –
водки заходил напиться Осип,
чтоб согреться под Владивостоком...

Самара: бункер Сталина

В землю, как в масло, на час уходи,
звякая лезвием взора,
и под конец рукоятью груди
не ощущая упора.

Слыша, как глохнет скрипучий вопрос
при пересчёте ступеней:
этот ли воздух просвечен насквозь
мглою декабрьских бдений?

Этот ли бог за зелёным сукном
мог раздражаться эдиктом?
Глубже и глубже, как сумрачный гном,
в шахту сомненья входи ты,

вдруг понимая, что в списке наград
нужен писаке не букер,
а бесконечный и внутренний ад –
голову давящий бункер,

чтобы, впотьмах побоявшись остыть,
в поисках вечного солнца,
за драпировку заглядывал ты –
и не увидел оконца.

Ушкуйники

Окаменевшее слово бьёт в затылок:
первобытно-общинное, старо-берестяное –
под новгородской стеною
найдено новое слово,

наползающее, вместе с колёсной лирой,
тысячелетним скандинавским скрипом
по бесконечным струнам, медовым липам –
древнерусским ругательством неизвестным.

Все мы ушкуйники, все мы ворует правду –
русскую правду – вот она как живая:
свиток соломенный, истина дрожжевая,
памятник, вира на откуп богу.

Падшие буквы лучших наших сынов
волжской слезой проступают по Белогорью,
так комар наливается кровью
никогда не законченных снов...

О.М.

Если тёмный огонь отразится в ступенях воды
и как медленный конь истоптавший воронез до дыр
захрапит на сарай перекинувшись к крышам домов
значит грешник за рай навсегда умирать не готов

значит крестик сдавил изнурённую впалую грудь
значит в отклике вил не мятеж а призывы на труд
и горит огонёк у Матрён и задумчивых Кать
что взбирались на трон дабы семя мужское схаркать

значит встанет герой королевич степей и мотыг
за крестьянство горой продлевая столыпинский стык
на фонарных столбах на голгофах на детских плечах
кому в лоб кому в пах раздавая земную печать

потечёт от лампад долгожданный невольничий свет
от злодеев и падл заискрится знакомый завет
и пройдётся шатун по сибирским когтям-городам
разменявший версту на слова что я вам передам

ибо это во лжи искривляет огонь времена
потому что ожив наша память к бесчинствам смирна
и с обугленных уст у продлённого в вечность одра
алчный Молоха хруст омывает прямая вода

Кино

Ещё один денёк засвеченный,
испорченный рекламой дубль,
и на сеансе парень вечером
с экрана дует янки-дудль.

Ещё один стишок немедленный –
реакция на рецидив.
Затих поэт с проводкой медною,
сквозь зубы небо процедив.

А кинолента не кончается,
механик сеет беглый свет,
и отражённый луч качается,
на лицах оставляя след.

Да, в этой солнечной империи,
где каждый входит в каждый дом –
мы все умрём в десятой серии,
но если надо – оживём.

Городской диптих

1. Парк «Чёрное озеро»

Живёшь и печёную осень
подносишь к измятым губам,
а жёлтое крошево сосен
бескрылым хранишь голубям.

Пройдя через Арку влюблённых,
спускаясь за дождичком вниз,
сквозь цепь искалеченных клёнов
ты озера видишь карниз.

И так обрываешься сердцем,
что с тяжким пакетом в руках
торопишься где-то усесться,
у парочки место украл.

Задумчиво и виновато
твой взгляд переулку открыт, –
Пассажу киваешь приватно,
рассыпав по лавке дары.

И Чёрное озеро примет
(пока ты ещё не домок)
заветное тление примы
и пива ершистый дымок.

Вот так вот – сидишь на скамейке,
корнями ушедшей в погост,
а годы проносятся мельком
в аллеях, где ты произрос.

Где бегал на лыжах и с горки
ледянками мучил асфальт,
где летом от корки до корки
читался мячами офсайд.

Где в марте, отважный и робкий,
в стремнине коварного льда
на досках хоккейной коробки
ты плыл неизвестно куда...

Сидишь и под баночку пива
печёную осень жуёшь, –
и вроде не так уж тоскливо,
и даже как будто живёшь.

2. Парк Горького

Крутнёшь колесо обозренья,
поставив мгновенья на чёт,
и выпадет день озаренья,
и сердце стихом пропечёт.

За корочкой тёплого неба,
упрямо карабкаясь ввысь,
ты колокол высмотри слепо
и словом его вдохновись.

Взмывай над тропею овражьей
и над стадионом Труда,
пиши, как заходится в раже
в разбитом фонтане вода,

о старой канатной дороге,
детьми изнуряющей пляж,
и летнем кафе на отроге,
врезающем беличий кряж.

И пусть уничтожена местность,
но там, где аллеи свежи,
всё так же гранитно известный
солдат неизвестный лежит.

На вечном огне отогреешь
военную память отца,
и горькие звёзды хореев
украдкой прогонишь с лица.

В захлёбе, мятущейся птицей
в себе прорастив голоса,
захочешь на землю спуститься, –
а нет под тобой колеса.

Ленинский садик

Оседлав пешеходную зебру и мчась на кусты,
заблудился в словах, что, как вечность, длинны и густы.
И горит в подреберье остывший до льдинки рубин
полноцветьем калины и сочностью зрелых рябин.

Придорожный октябрь – ты опять графоман и расист,
на берёзы мои чёрно-белые так голосист,
что срываются птицы, о лете не договорив,
в беспросветную бездну – лихой загрудинный обрыв.

Уходящему в день, отступившему к охре в пожар,
только руку кленовую мне остаётся пожать,
по аллее пройдя от листа до другого листа,
и дождя валерьянку считая по каплям до ста.

Проглотив истекающей сини микстуру на сон,
я вернусь поутру, прихватив, как отважный Ясон,
весь словесный гербарий поэта – плута и вруна,
потому что тоска моя в цвет золотого руна.

Улица Волкова

Волчьей улицы дом, словно клык,
расшатался и стал кровоточить,
и к нему два таких же впритык
разболелись сегодняшней ночью.

Раскрипелись, как будто под снос,
и распухли щеками заборов,
и теперь только содою звёзд
полоскать их до утренних сборов.

Око волка – багровый фонарь,
хвост его выметает прохожих,
а Вторая Гора, как и встарь,
окончательно их обезножит.

Крыш прогнивших топорщится шерсть,
крылышка, смеётся кузнечик,
он на Волкова, дом 46,
нашептал Велимиру словечек.

Бобэоби – другие стихи –
в горле улицы, в самом начале,
завучали, больнично тихи,
но на них санитары начхали.

Здесь трудов воробьиных не счесть:
по палатам душевноздоровых
птичью лирику щебетом несть,
пусть и небо на крепких засовах.

А над небом царит высота,
а с высот упадает в окошко
пустота, простота, красота,
трав и вер заповедная мошка.

На казанском базаре

Здесь, на базаре, в шум и гам
среди корзин
проходит батюшка к рядам
и муэдзин.

Здесь пахнет квасом и халвой –
ядрёный дух!
Мясник с утра над головой
гоняет мух.

Здесь в тюбетейку льют рубли,
звучит баян.
Хозяин, старенький Али,
немного пьян.

Здесь на бухарские ковры
и местный кроль
придут рязанские воры
«сыграть гастроль».

Здесь, разложивши короба,
людскую течь
сзывает бойкая апа,
мешая речь.

И нищий ветеран труда,
держась, как принц,
займёт полтинник навсегда
у продавщиц.

А за углом, проспав обед,
колокола
разбудят звоном минарет –
споёт мулла.

Казань: Универсиада-2013

Кровить ещё июльскому деньку
до полной анемии дю Солея,
и неба серебристую деньгу
ссыпать на переходе у аллеи.

А мне теперь выдёргивать билет
на зрелище совсем иного толка, –
смотреть, как распоясался атлет,
в одну ладошку хлопать да и только.

Брести, где колченогая игра
восстала с разлинованного пола:
на Спартаковской холл к себе прибрал
зеркальные осколки баскетбола.

А на Манеже, цифрами кружа,
развеян том судейских протоколов.
Мне от рапиры бешеной бежать,
но сорок пять поймать в живот уколов.

И напоследок праздновать улов,
увидев, как на потном пьедестале
покатятся к подножию голов
налившиеся золотом медали.

5-я горбольница

Ангел явится – и вдруг начнёшь креститься,
да шарахнешься с насиженного рая
в неврологию, где пухлая сестрица
за кроссвордом и печеньем умирает.

То ли топот по линолеуму слышен,
что, как insult, пробивает черепушку,
то ли в междупозвонковой давней грыже
заходили с визгом диски у старушки?

Этим утром бродит солнце по палатам
и на лазер просыпающихся удит.
Расщепляет массажист тебя на атом,
а потом капелью капельница будит.

Оборону держит строго старый замок,
и моргают занавесками бойницы...
Внеурочный посетитель – полустанок –
разгоняет поездами боль больницы.

Лядской Сад

Мы выжили, спелись, срослись в естество
чернеющей в садике старой рябины,
глухой, искорёженный донельзя ствол
не выстрелит гроздью по вымокшим спинам,

плывущим к Державину, выполнить чтоб
в обнимку с поэтом плохой фотоснимок:
блестят провода и качается столб,
троллейбус искрит, перепутанный ими,

а ливень полощет у сосен бока
и треплет берёзы за ветхие косы,
газон, осушив над собой облака,
под коврик бухарский осокою косит,

и голос фонтана от капель дождя
включён, вовлечён в наше счастье людское...
и мальчик соседский, в столетья уйдя,
по лужам вбегает в усадьбу Лецкого.

Раифский Богородицкий монастырь

У Сумского озера взгляды
о солнечный купол сминай,
пока с Филаретом ты рядом
и дышит казанский Синай.

Истории путь одинаков:
честнейшие сердцем дружки
и здесь избивали монахов
и храмы восторженно жгли.

Но колокол, вырванный с мясом,
что в землю ушёл на аршин,
проросшим звучанием связан
с мерцанием новой души.

Так выгляни, скит стародавний,
запаянный метким свинцом,
меняя тюремные ставни
на свет под сосновым венцом.

Варваринская церковь

Ты стоишь у погоста, напротив,
над оградами крестик держа,
напитавшись молитвой и плотью
приходящих к тебе ухожан.

Двести лет над Сибирской заставой
дух крамолы витал палачом, –
это он Емельяна заставил
по Казани греметь пугачом.

Потому ли Радищев и Герцен
у Варваринской медлили тракт,
что услышан был «Колокол» сердцем
и прочитан дорожный трактат.

А мятежный шаляпинский гений,
оживляя церковный хорал,
не во время ли тех песнопений
столь великой судьбой захворал?.

Не затем ли крещён Заболоцкий
в этих стенах, чтоб бунта чтецы
тремякратно и многоголосно
освятили по кельям «Столбцы»?..

Озёра

И Лебяжье, и Глубокое
проморгали синеву,
только утка хитроокая
удержалась на плаву.

Только небо золотистое
всё ещё выходит в рост
и трепещет между листьями
усыхающих берёз.

На лугах тончают лужицы,
зазеркальем манит карп –
и взовьются, и закружатся
чешуёю облака.

Юность, памятью ромашковой
на меня венки надев,
разбегается барашками
...в круге первом...
...по воде...

Свияжск

Впадает ли в Волгу кривая Свияга,
где кожа реки золотится на солнце,
и храмы медовые, вставши на якорь,
в обеденный проблеск опутаны звонцем?

Впадает ли сердце в острожную крепость,
забившись о берег тугими волнами,
в крови оживляя восторженный эпос
о грозном царе от бревенчатых армий?

Впадают ли в спячку глухие столетья,
ушедшие вплавь на приступе Казани,
внизу по теченью победу отметив,
забывшие всё, что стремительно взяли?

Заблудшее солнце, что рань ножевая,
безмолвные церкви по горлу полощет.
Но с лязгом мечей иногда оживает
на острове новом старинная площадь...

Булгария

Волга впала в Каму,
Кама – в небеса.
Небо под ногами
брызнуло в глаза.

Ищет, не находит
синь свою вода:
белый пароходик,
чёрная беда.

К берегу какому
выплыл башмачок?
Волга впала в кому –
больше не течёт...

Елабуга

Борису Кутенкову и Евгению Морозову

Ах, Елабуга прекрасная,
деревянные дома,
здесь из чарок Кама красная
льётся в глотку задарма.

Дождь по крышам ходит весело,
смотришь, куришь и молчишь –
где Цветаева повесилась,
стонет утренняя тишь.

Вы, Марина, тоже странница –
продираетесь строкой...
Гвоздик в сердце ковыряется:
пить ли нам за упокой?

Быть ли нам? Ходить по краешку?
Перепевами мельчать...
И, открыв на вечность варезку,
в пустоту стихи мычать.

Ах, Елабуга прекрасная,
Кама – красная вода...
Путь один, тропинки разные –
не уехать никогда.

М.Ц.

Рахиму Гайсину

Какой виной земля раздавлена
у приснопамятной могилы,
ведь Кама берегу оставила
ту, что на небо уходила?

Какое же проклятье чортово
её догнало в городище,
что в сорок первом жизнь зачёркнута,
а рваный стих бурлит и свищет?

Какая невозможность лживая
однажды хлопнула калиткой,
и страшный стон на Ворошилова
закончил то, что было пыткой?

Елабуга цветёт Цветаевой
и наливается рябиной,
где горло города сжимаемо
петлёр стихов её любимых...

Марий Чодра

Валерию Орлову

Пять озёр омывали тело,
воздух глиняный жёг виски,
над лесами заря хрустела,
к пальцам молний попав в тиски.

В пропасть пасти упасть и сгинуть,
кануть каплей в морской зрачок.
Измочалив о волны спину,
красть у карста ручей речью.

Кичиерского лося проще,
конанерского дуба злей,
где священная роща ропщет,
я кленовый краду елей.

Языкастый казанский мальчик
выгнул жабры и лёг лещом,
мы сыграем с тобою в Яльчик,
но сегодня пока ещё

льют русалочью кровь озёра,
бьёт марийская жизнь хвостом, —
эту воду не сшить узором,
не распять никаким Христом.

Крутушка

Где Казанка волной одичалою
в камышовой кайме берегов
шестилетнего манит учарова
на крючок нарыбачить улов;

там, где в песнь безымянного озера
от тарзанки срывается крик,
и в песочную воду бульдозером
зарывается детство на миг;

там, где тучами небо зашторили,
но в просвет пропустили грозу,
а потом на столбах санатория
растянули сушиться лазурь;

там, где шахматный конь полусъеденный
старичка вдруг в атаку понёс,
но в гамбит развернулся обеденный,
променяв перевес на овёс;

где к огням пионерского лагеря
навесной устремляется мост,
и коты под Котовского наголо
расчехляют зазубренный хвост;

в ярких отсветах солнца закатного,
подрезающих соснам верхи,
где был мамой и папой загадан я,
там теперь ворожу на стихи.

Геннадию Капанову

Ни росы, ни света – солнце опять не взошло,
я неряшлив и короток, как надписи на заборах,
меня заваривают, пьют, говорят – хорошо
получается, даже задорно.

Лёд и пламень, мёд чабреца,
сон одуванчика, корень ромашки ранней,
пожухлый лопух в пол-лица (это я), –
надо смешать и прикладывать к ране.

Будет вам горше, а мне от крови теплой,
солью и пеплом, сном, леденящим шилом, –
верно и долго, как эпоксидный клей,
тексты мои стынут у Камы в жилах.

Вся наша смерть – в ловких руках пчелы
молниеносной – той, что уже не промажет:
словно Капранов, я уплыву в Челны
белый песок перебирать на пляже.

** Геннадий Капранов (1937 – 1985) – талантливый казанский поэт.
Погиб от удара молнии на пляже в Набережных Челнах.*

Гавриил Каменев

Всё от Бога: и слово мрачное, и лученье смешливых губ,
капиталы, дома барачные и дворянства былой суккуб.
Упокой перейдёт во здравицу на гортанном наречье мурз –
и не то что купец объявится, но потомок татарских муз.

То ли азбуки, то ли ижицы – коли чёрный огонь внутри,
не читай, что на небо нижется, о бумагу перо не три...
В задыхании – после бега ли за сосновые образа –
так уколет твоя элегия, словно хвоей метнёт в глаза.

На погосте, теперь разрушенном, за Кизической слободой,
прах твой станет могиле ужином, память выгравит лебедой.
Но однажды всплакнёт балладою зовом зыбким Зилантов вал –
о Зломаре впотьмах балакая, пригрозит, прогремит Громвал.

Это мистика, это готика – два столетия псу под хвост...
И классическая просодика на анапест наводит лоск.
Только нет у героя книжицы – наизусть ты его блажи,
где в бетон закатали Хижицы, чтобы каменев пал с души...

** Гавриил Каменев (1773 – 1803) – первый русский романтик; автор
первой русской баллады «Громвал»; Хижицы – старинное название
Кизической слободы под Казанью и одноимённое стихотворение
Каменева, найденное уже после его смерти в кармане сюртука.*

III

Инородная вещь

Перейдя на запретный язык,
потрясая основы,
плавяшь горлом немые азы
в клёкот странный и новый.

И когда инородную вещь
больше выплакать нечем, –
голос твой вдруг становится вещь,
буквы разве что мельче.

* * *

Тиха и прозрачна осень,
и хрупок полёт листа,
который стремится, оземь
ударившись, вещим стать.

И так бесконечно немо
в желании долг вернуть
многопудовое небо,
упавшее мне на грудь...

* * *

За окном, до утра приуныв,
двор уляжется с нищим.
Замерцает фонарик луны, –
что ты, Господи, ищешь?

Летом полночь совсем не видна –
бродит полуживая,
осушая поэта до дна
и бутылъ разбивая.

* * *

Земля – это белая точка
и – вдруг – наплывающий шар,
на клеть голубого листочка
упавший, ушедший пожар.

И снова – сиянье, горенье
над пропастью светлых скорбей,
где Землю, как словотворенье,
покатит поэт-скарабей.

* * *

Не ходите в сапогах по небу,
Облака затаптывая в пыль,
Нагибайтесь под рассветом медным,
Чтоб о Солнце не разбились лбы.

Ничего не трогайте руками:
Хрупок мироздания клочок.
На подошве занесёте камень –
У Атланта вывернет плечо.

* * *

Не с Евтерпой – но трепетной музой,
королевой полночных стихий,
обретя долгожданные узы,
я прошу, несмотря на грехи:

и по ту вертикаль, и по эту
на небесных весах обнови
безграничное счастье поэта –
невесомое чувство любви.

Божественная правда

Г.Б.

1

Расписались на форзаце правды –
между нами не осталось тайны.
Утром в сквере повесть листопада
близоруко мы с тобой читаем.

От любви – сильнейшей в мире магии –
вспыхнем и сгорим к странице рая,
пусть и на холсте, и на бумаге
так уже никто не умирает.

2

День отстукан гулким ундервудом,
но кусками вычеркнуты главки,
и лучом багровым – жив покуда –
внесены божественные правки.

Высохла чернильница заката,
томик звёзд упал на дно колодца –
утром с красной строчки миокарда
слово человеческое забьётся.

Иероглиф

Галине Булатовой

Смотреть с тобой японское кино,
вдыхать слепой восторг цветущих вишен
и кукурузой пачкать кимоно:
сидеть, глядеть и будто бы всё слышать,

но кроме нас не видеть ничего,
забыть, что мир изменчиво юродив,
лишь пальцами читать твоё плечо –
как женственности вечный иероглиф...

* * *

В облака вонзая когти,
Мимо городов,
Режет воздух вертоплтер
Махами винтов.

Он добычу снова сыщел
Для себя и в дар –
Не останется без пищи
Старенький ангар.

* * *

Проклонелся день в скорлупе одеяла
и вдруг закурлычет во весь голосок
в захлёбе весны, что с утра обуяла
шкварчащего солнца утиный желток.

И щебет щербета, и патока неба,
и тёплая горстка апрельских семян
заменяют колючие чёрточки снега
на птицепись звонких времян.

Подснежник

На ферме работаешь в Нарнии
и думаешь, что не умрёшь,
но встретишь эльфийскую армию –
и замертво падаешь в рожь.

Теперь тебе днями загробными
земле колыбельную петъ
и маленький хлеб под сугробами
весенним детишечкам греть.

* * *

Под сенью скользких грозных крыш
струится на работу челядь,
и снег становится так рыж,
когда сосулька входит в череп.

И ты войдёшь в меня, весна,
грудь распоров лучом участия,
и я воспряну ото сна
и кровью напишу о счастье!

Речное

Если вечер нанизан на месяц,
как червяк на крючок рыбака,
кичего твоё время не весит,
раз наживка уже глубока.

Рыбье сердце занует в грудине,
лопнет мир, как огромный пузырь.
Жизнь, всплывая к небесной ундине,
не разжалобит звёздный пустырь.

* * *

Чёрный поросёнок Игорь –
ты бессмертен, не умрёшь,
не проткнут тебя острой пикой,
не засунут в тебя нож.

И глаза твои бесконечные
будут вечно в хлеву светлеть,
потому-то и мне, конечно,
ничего не узнать про смерть.

* * *

Чьей-то древнею рукой
ковш на небе вышит,
и закинут далеко –
черпать души с крыши.

Спи, мой маленький, а то
выйдешь спозаранку –
обнаружишь на виске
маленькую ранку.

* * *

С небосвода конопатого,
как с кленового листа,
сорвалась – и снова падает
сумасшедшая звезда.

Облака её коверкают,
выплавляя света сок,
и летит она калекою –
всё стихами об висок.

* * *

Жизнь – застенчивый кузнечик,
разбегающийся в даль.
Прыгнет в небо человек
и исчезнет навсегда.

Только клеверная стела
прорастёт в тени крыльца,
и останется от тела
золотистая пыльца.

IV

* * *

Филиппу Пираеву

Иногда нужно вспомнить, что я человек
и конца на пути не миную,
а пока – для чего проживаю свой век,
что кладу я в копилку земную?
Голоса из глубинных предчувствий беря,
для чего отшлифовывал разум?
Для чего по сусекам всего словаря
выскребал я заветную фразу?
Эта ночь, как последняя в мире, тиха,
в ней рождается голое слово...
За хорошую строчку живого стиха
умираю я снова и снова...

Лунатик

Как на лампаду, на небо дохнёшь –
погасишь звёзды, отвернёшься к стенке
и, сном полурасстрелянный, начнёшь
цедить глагол оспатой ассистентке.

Она тебе сквозь тюль засветит в глаз,
и ты, словечки нанизав на рёбра,
на ловкое циркачество горазд,
карнизом ржавым пятишься нетвёрдо.

О, Господи, ты только не буди,
когда я черепицу разминаю,
ходи со мной по этому пути,
пока не приключится жизнь иная.

Тогда кульбиты будут так лихи,
так искренне прочертится глиссада,
ведь падать – это как писать стихи:
здесь притворяться и уметь – не надо.

Письмирь

Словно в бычий пузырь, из автобусных окон глядишь,
от стекла оттирая давно поредевшую рошу,
где берёзами всласть напитавшись, молочная тишь
под корнями осин прячет кладбища грозные мощи.

Проезжаешь Письмирь – и становишься ближе к себе...
Через мост и холмы к польсевшему дому у речки
приникаешь лицом, подсмотрев как в былинной избе
мужичок обжигает в печи то горшки, то словечки.

Проезжаешь весьмир, а в глазах, как в подзорной трубе,
только узкая прорезь земли под бушующей высью:
вот распят электрический бог на подгнившем столбе,
вот сосна полыхает за полем макушкой лисьей.

Позади Мелекесс пух гусиный метёт в синеву,
он на спины налип – мы гогочем и машем руками...
Нас, поднявшихся в небо, наверно, потом назовут –
облаками...

* * *

А что поэт? Сидит себе на жёрдочке,
клеветает клювом, зарится пером...
Легонечко весна коснётся форточки
и озарит лазурью птичий дом.

По зёрнышку, по лучику, по ядрышку
накрошит в плоску солнечных деньков
и радужно их сядет щёлкать рядышком
за прутьями плывущих облаков.

У клетки золотой названий тысяча.
Щеколдой нёба небо щекоча,
и ты сейчас сидишь себе напыщенный –
соловушкаю в облике грача.

Святки

Очнись в студёный вечерок, пойми на деле,
что от звезды и до воды не две недели:
другая жизнь, другие сны, другие меры
от новых жителей земли не нашей эры.

Заворожённо посмотри, как месяц в прятки
играет с мальчиком в окне, что ждёт колядки...
И войско ряженных идёт, беря овраги,
и быть веселью на селе в потешной драке.

Проймись волшебным угольком, как ветром с Вятки,
и замаячит шиликун тебе на святки, –
так живо сердцем отомрёшь, на это глядя,
что, добежав, охолонёшь в крещенской глади.

А поутру поймёшь ещё, поверив глазу,
что день берёт теперь своё – за всё и сразу.
Очнись, родной, и восхитись, ведь мир внезапен,
я б тоже это оценил, да что-то запил...

* * *

Живу. И видит Бог... Конечно, нет.
Имеющий глаза да не увидит.
Как написал дряхлеющий Овидий –
о, как он интересно написал...

По выходным безвыходность гнетёт.
Заматеревший март ручьями полон...
До вечера капель играет в поло,
а ночью Марко ищет, где восток.

Когда же перемелются снега,
на суточном дежурстве мне по рации
ты передашь, должно быть, друг Гораций,
что завтра будет лучше, чем вчера...

* * *

Бродя по закоулкам января
во двориках, прижавшихся к домам
стволами лип с обмёрзшими ветвями,
оглядываясь, вновь увижу я
румяный лик святого Рождества,
к заутрене зовущего церквями.

И брызнет жизнь на полушубок мой,
малиновыми каплями луча
рассвет покажет место, где далёко
скользнуло небо на пустырь седой
и голубую тучей улеглось
до Воскресенья подремать немного...

Боярышник

Мой грустный друг, когда слышны слова,
бредущие к сочувствию прохожих,
таинственная ягода – зла вам
не принесёт, а только лишь поможет.

Прислугой у аптечного замка
вы так печально мелочью звените,
что чёрствости теряется закал
и губы сами шепчут: «Извините...»

А Муза рядом чек пробьёт пока –
наступит ясность бытия земного,
и с божьей помощью её рука
протянет кубок вдохновенья снова.

Тончайший лирик, в ком трепещет ток
промозглых утр и мусорных прибоев –
вы в два глотка осушите всё то,
что мне за жизнь отпущено судьбою.

* * *

В полу затёртом, между щелями,
под сенью венского стола,
сверкая звёздными ущельями,
живёт космическая мгла.

Живёт, соседствуя с предметами,
которые, скользнув за край,
в полночном спектре фиолетовом
заветный выискали рай.

Там, преисполненный томления,
кружок советского рубля
заводит гордо песнопения
в канун седьмого ноября.

Конфетный фантик белым парусом
плывёт за паутинкой дня
между вторым и третьим ярусом
сплетённых досок бытия.

В плену потерянного времени
там, неудачник пилигрим,
дряхлает гвоздь, седея теменем,
забитый в бездну молодым.

И всё течёт, и всё меняется:
полёты снов, движенья тел,
и бутафорский свет качается
колчаном искроносных стрел.

Когда же тапок прикасается
к расщелине иных миров,
к подошвам чувственно ласкается
полов межзвёздная любовь...

* * *

За облаками вёрсты навестай –
где с песней, выдуваемой в хрусталь,
стоят, в своей красе непогрешимы,
замёрзшие в девичестве вершины,
где усачом у терекских излучин
закат до посинения изучен.

Там изобилье в роге у Вано
на вкус и цвет: как выпить дать – вино.
А горные и торные козлята
под ноги сыплют огненные ядра,
и тратится к подножию Казбек
на эха перепуганного бег.

* * *

В день бездумный и промозглый
от глубин весенних чащ
до костей и вглубь, до мозга,
воздух длинен и кричащ.

Ветер в хлопотах довольных
дни и ночи напролёт
звон от струн высоковольтных
в шапку ельника кладёт.

И, похрустывая веткой,
к жгучей радости крапив,
шаг зари в обувке ветхой
по земле нетороплив.

Обломов. Эпистолярные вариации

Действенная тоска – штрих к моему портрету,
грифельный скрип по аспидному сланцу.
Если выведет кривая, то я приеду
нищим принцем с князьком-оборванцем.

Вырвусь из грязи, это нехитрое дело,
друга представлю – немецкий мой кореш,
кровь разгоняет, дабы не очень густела.
Кстати, чем нас с Андрюхой покормишь?

Есть некий план: Бельведерского Аполлона
охлаодить корреджовой «Ночью».
Как ты считаешь, хватит пивного баллона
туфли испачкать римскою почвой?

Грум запрягает праздничный выход трамвая,
день ест от солнца последнюю дольку.
Три остановки, но до конечного рая
всё не доеду, милая Ольга.

Церквела ночь

Я помню наше длинное начало:
не дома ты.
И чаек крик волна в себе качала
до немоты.
И звёзды отражением касались
самих себя.
И час для нас тогда сгорал, казалось,
за миг, слепя..

А тени над Казанкой выдували
хрустальный звук.
И ноты плыли в сомкнутом овале
устаи двух.
По Федосеевской струился пламень
от Цирка прочь.
Над городом протяжно куполами
церквела ночь...

Идол

Г.Б.

Над капищем развеется зола,
придут на смену боги постоянства,
Аллах отменит жертвенное пьянство,
и канет жрец в нарубленный салат.

Послышится едва заметный скрип
уклюжин лодки в серых водах талых,
сознание погаснет в ритуалах,
пока паромщик в церкви не охрип.

Качнётся берег, жизнь проговорив.
По отблеску божественной идеи
плывут обратно волнами недели,
о разум разбиваясь в брызги рифм.

Мы вечно снимся миру: ты и я,
безвременьем невинно обождёны.
Кольцо на пальце – наша протяжённость,
а спящий камень – форма бытия.

* * *

Гале

Птичий контур, чертёж без деталей,
в небо шаг, или взмах, или два,
от осенне-осиновых далей,
пункт за пунктом, пунктиром, едва,
прочертив облака, предначертав
оставаться на окнах ночей,
и пером по бумаге зачем-то
лунной горлицей стынуть ничьей,
занемочь, где в сиреневой тряске
клювы клином вбиваются в юг,
и синицы, сипя на татарском,
минаретные гнёздышки вьют,

задышать глубоко в понедельник,
отыскав голубиную клеть,
и застуженный крестик нательный
на груди у меня отогреть.

* * *

Так ли объятья разума нам тесны?
Господи, господи – ты ли пророчишь сны?
Ты ли придумал грустного человека –
просто слепил из снега.

Веришь ли ты в гулкий комок тепла?
Тело его тщедушно, любовь светла –
глиняный стебелёк, бесконечная чаша,
подлая сущность наша.

Господи, господи – ты вот зевнул, а здесь
тысячелетия к нам продолжают лезть.
Ты вот моргнул – и кончились небеса,
звёзды колеблются, вламываются в глаза.

Так ли всё это, Господи, смерть и страх,
порох и мясо, вечности тлен да прах?
Звёзды колеблются – ими полны глаза,
битая чаша, острые голоса.

Часы

Не скрипнет засыпающий засов, –
лишь маятник потрёпанных часов,
вися на волоске, качнувшись в полночь
от шестерёнок звёзд и сна пружин,
назойливо комариком кружит,
колёсиком звенит тебе на помощь.

Ну что за жизнь в бессмертии таком?
Под мерный стук ты возишься с замком,
проклятых стрелок приближая залежь.

Убив кукушку, смерть не обмануть, –
макнёшь перо в сиреневую муть
и облако над домом продырявишь...

* * *

Первая луна на человеке
светит в любопытный объектив,
а Господь смежил на это веки,
космос на себя облокотив.

И летит в извилистые дали
куча механических проныр
проверять по звяканью медали
видимость обратной стороны.

Первопроходимцы и проходцы
этой неуёмною зимой
жгут своё неверие о Солнце
всею окрылённостью самой.

А весной, разумной и лечебной,
примет космонавта на поля
крови намешавшая и щебня
первая, как исповедь, земля.

Музыка речи

Намолчи на сто столетий,
а сорвавши кляп,
убедись, что смертны дети –
и хорей, и ямб.

Между сном и настоящим
истина одна:
в звонком выпадѣ разящем
правда холодна.

Бритву чувства вскинешь снова,
чтоб вершить добро...
Об язык заточишь слово –
бей им под ребро.

Время, звякнув циферблатом,
упадёт ничком.
Тронет мысль скрипичным ладом
по виску смычком.

Правит музыку, известно,
музыка сама.
Полоснёт по горлу песня –
вытекут слова.

Берег

Собачонка лижет берегу руки,
берег бросает ей мяч в воду.
Собачонка обрушивается в бензиновое пятно,
в цветущую зелёную бахрому.
Взбивает пену –
уши в тине, нос в облаках.
Стискивает шар,
поворачивается –
берега нет.

Бойся берега.
В нём можно увязнуть навсегда.
Построить дом.
Засеять пашню.
Завести скот.
Приютить собаку.
Отправить её за мячом –
уши в тине, нос в облаках..
Она обернётся.
А тебя нет.

* * *

В новое переселяясь тело –
чувствовать озноб, неправоту.
Позабыть бы. Забываешь смело
то, что будет так неумоги.

Радуеться солнцу, но не знаешь
что это такое, какова
близится расплата за уменьье
языком нащупывать слова.

Смотришь-смотришь ясными глазами
на рождённый в первом крике мир.
Вот и всё. Мне всё про всё сказали.
Обними и на руки возьми.

Детальки

Вдруг разбирают сердце,
а потом собирают.
Но остаётся несколько лишних деталек.
А сердце работает, чувствует,
думает, тикает.

И лежат эти пыльные детальки в шкафчике,
пока ты их, наконец, не выбросишь,
наводя очередную чистоту и порядок.

И проходит много-много времени,
когда ты вдруг с ужасом понимаешь,
что в этих-то ржавых железках и было всё самое важное.
Всё то, что скрипело и царапало,
рвалось и билось.

Где теперь эти волшебные шестерёнки?
Соседские дети давно подобрали их у мусорки,
и вставили себе в звонкие сердца,
и проживают твои удивительные мгновенья...

* * *

Думать, как вода,
пить себя допьяна,
пениться, заикаться,
лечь – и на берег течь.

Берег – одна рука,
Второй – другая рука.
Так обнимают воду:
К сердцу – один, другой – свысока.

Жить, как вода,
Рыбу в себе держать.
– Ты держишь на меня рыбу?
– Нет, обида уже прошла...

Факир

Пока по воде не ходил ты, ходи по гвоздям
и пламя стихов выдыхай из прокуренных лёгких, –
а я тебе сердцем за тайные знания воздам,
и пусть все слова оживают в руках твоих ловких.

Глотай бесконечную шпагу далёких путей,
нутро оцарапав тупым остриём горизонта,
толкующий сны, над подстрочником жизни потей –
нам слышен твой голос, в ночи раздающийся звонко.

Смешной заклинатель по свету расползшихся змей,
усталый адепт красоты, поэтический дервиш,
сомнения наши в нечестности мира развей,
пока ты на дудочке музыку вечности держишь.

Едва различима суфийская родственность каст,
и пассы твои над душою совсем невесома,
но проблеском истин питается магия глаз –
мы живы, пока удивляться чему-то способны.

* * *

Снятся сны – голодные волчата,
правду звука из груди сосут.
Жизнь моя – как заболоцкость чья-то –
свет, которым отмерцал сосуд.

Словно мышь, из этого кувшина
молоко взбиваю до крови,
но спасает тайная пружина
и пера зубчатый маховик.

По стихам, что делаются гуще,
выбираюсь и качусь, юля,
я качаюсь, я волчком запущен,
я верчусь, и значит я – Земля!

Окно

*Шагаю ночью каждой
уже давным-давно
и, может быть, однажды
найду твоё окно...*

Окно – милосердное эхо
погасших квадратных небес,
для беглой свободы прореха
во мрачной квартире словес,
колючая прорубь в иное,
что острою рябью стекла
моё любопытство льняное
вспороть до затылка могла.
Окно – путеводная нитка,
ведущая в пропасть ушка –
как первая к смерти попытка
последнего в жизни прыжка,
и млечная оторопь света,
и ночь задушевной брехни,
в губительный мир без ответа
раскрытые настезь стихи.

* * *

Скоро смерть. Высокие заботы.
Надо поскорее всё успеть.
Но слова подошли от работы,
ничего уже не спеть.

То, что длилось длилось длилось длилось,
встало комом – не проговорить.
Помолчи, заткнись на милость –
на живое воду лить.

Смерти нет. И нет её всё выше.
Только жизни вечна суета.
Всё ты понял. И пошёл. И вышел.
Тра-та-та.

* * *

*«Каждый умерший человек
становится новой звездой на небе.
Поэтому Вселенная и расширяется...»
(Из разговора в автобусе)*

Папа, папа, что ж ты снишься?
Я тебя почти не знал,
помню лишь, как ты синицей
в мёрзлом марте умирал.

Мама, мама, что ты плачешь?
Ты ведь тоже умерла.
Не ходила больше замуж,
всё сыночка берегла.

Вырос я большой, здоровый,
но не смог тебе помочь, –
ты опять врачом на «Скорой»
за звездой уходишь в ночь.

Этим звёздам очень тесно
каждой ночью надо мной.
Мамы с папой дар небесный
не вмещает сын земной.

* * *

Когда бессмертную монаду
Господь от мира муз отъемлет, –
прошу, друзья мои, не надо
закапывать поэта в землю.

Пускай застонет дверца топки,
и звякнет крестик мой нательный, –
по небу разлетаясь робко,
я превращусь в дымок котельной.

Я сам себе бессмертный свиток,
который загорится жарко,
и в пытках от пустых попыток
не будет рукописи жалко.

* * *

В кашемировом небе на вырост
облака на резинке ношу,
и весны неслучайную сырость
по щекам иногда развожу.

Чтобы в детстве, костром обожжённом,
вдруг запахнув ночью росой,
проглянуло бы под капюшоном
удивленье озона грозой.

И на Млечном Пути без ошибки
мама с папой увидеть смогли
голубые, как вечность, прожилки
зарифмованной сыном Земли.

Содержание

Ф. Пираев. <i>Потрясаю основы</i>	3
Ю. Лукач. <i>«Океан без окна». О поэзии Эдуарда Учарова</i>	4

I

Подъезд	5
Огород	5
Мой ленин	6
Декабрь	7
Дятел	8
Подворотня	8
Звонарь	9
Шифоньер	9
«Не поезд Анну красит...»	10
Ёлочный сок	10
Андалузский пёс	11
Венедикт Ерофеев. Москва – Петушки	12
Возвращаясь с войны	13
Кузмин	13
Губанов	14
Зодиак	14
Там	15
1. <i>«Там ещё пишут...»</i>	15
2. <i>«Там, в голове, зреет яйцо ума...»</i>	16
3. <i>«Там меня пишут вензелем до вершин...»</i>	16
«Колодезная рябь...»	17
Так уходят отцы и деды	17
Анка	18
Компьютерный вирус	18
Трёхколёсный бог	19
Стоматология	20
За кроваву реченьку	21
Забалдев под болдинскую осень...	20
Самара: бункер Сталина	22
Ушкуйники	23
О.М.	23
Кино	24

II

Городской диптих	25
1. Парк «Чёрное озеро»	25
2. Парк Горького	26
Ленинский садик	27
Улица Волкова	27
На казанском базаре	28
Казань: Универсиада-2013	29
5-я горбольница	30
Лядской сад	31
Раифский Богородицкий монастырь	31
Варваринская церковь	32
Озёра	33
Свияжск	33
Булгария	34
Елабуга	34
М.Ц.	35
Марий Чодра	36
Крутушка	36
Геннадия Капранову	37
Гавриил Каменев	38

III

Иностранная вещь	39
«Тиха и прозрачна осень...»	39
«За окном до утра приуныв...»	39
«Земля – это белая точка...»	40
«Не ходите в сапогах по небу...»	40
«Не с Евтерпой – но трепетной музой...»	40
Божественная правда	41
1. «Расписались на форзаце правды...»	41
2. «День отстукан гулким ундервудом...»	41
Иероглиф	41
«В облака вонзая когти...»	42
«Проклюнется день в скорлупе одеяла...»	42
Подснежник	42
«Под сенью скользких грозных крыш...»	43
Речное	43
«Чёрный поросёнок Игорь...»	43

«Чьей-то древнею рукой...»	44
«С небосвода конопатого...»	44
«Жизнь – застенчивый кузнечик...»	44

IV

«Иногда нужно вспомнить, что я человек...»	45
Лунатик	45
Письмирь	46
А что поэт? Сидит себе на жёрдочке...	46
Святки	47
«Живу. И видит Бог... Конечно, нет...»	47
Бродя по закоулкам января	48
Боярышник	48
«В полу затёртом, между щелями...»	49
«За облаками вёрсты наверх...»	50
«В день бездумный и промозглый»	50
Обломов. Эпистолярные вариации	50
Церквела ночь	51
Идол	52
«Птичий контур, чертёж без деталей...»	52
«Так ли объятья разума нам тесны?»	53
Часы	53
«Первая луна на человеке...»	54
Музыка речи	54
Берег	55
«В новое переселяясь тело...»	56
Детальки	56
«Думать, как вода...»	57
Факир	57
«Снятся сны – голодные волчата...»	58
Окно	58
«Скоро смерть. Высокие заботы...»	59
«Папа, папа, что ж ты снишься?»	59
«Когда бессмертную монаду...»	60
«В кашемировом небе на вырост...»	60

Эдуард Учаров – поэт, эссеист, редактор. Родился в Тольятти в 1978 г. Имеет высшее юридическое образование. Публиковался в журналах и альманахах «Дружба народов», «Новая юность», «Нева», «День и ночь», «Паровоз», «День поэзии», «Дети Ра», «Номо Legens», «Современная поэзия», «Сетевая словесность», «45-я параллель», «Истоки», «Аргамак. Татарстан», «Идель» и др. российских и зарубежных изданиях.

Победитель турнира поэтов Литературной универсиады в Казани (2013). Призёр двух конкурсов поэтического перевода (2014, 2015). Автор поэтических сборников «Подворотня» (2011, переизд. 2013), «SOСстояние весомости» (2012), «Трёхколёсное небо» (2015), «Калмыцкие таблицы» (2016), «Мирумир» (2016). Редактор-составитель поэтических сборников «Казанский объектив-2015», «Калитка», книги «Гавриил Каменев: Избранное», книги ушедшего казанского поэта Ивана Данилова «Птица долгой зимы» (в соавторстве с Галиной Булатовой) и др.

Организатор и куратор ряда литературных проектов, в т.ч. по увековечиванию в Казани памяти о первом русском романтике Гаврииле Каменеве (1773 – 1803). Стихи переведены на сербский язык.

Работает руководителем Литературного кафе «Калитка» Центральной библиотеки.

Литературно-художественное издание

Учаров Эдуард Раимович
ehd-ucharov@yandex.ru

ИНОРОДНЯЯ ВЕЩЬ

Публикуется в авторской редакции

Подписано в печать 25.10.2017
Тираж 100 экз.

Издательство Академии наук РТ